

A black and white portrait of Dmitry Likhachev, an elderly man with a serious expression, wearing a dark suit and tie. He is positioned in the upper half of the poster, with a bookshelf visible behind him.

**Дмитрий
Лихачев**

МОЯ ВОЙНА

В блокадном Ленинграде



Моя война

Дмитрий Лихачев
В блокадном Ленинграде

«Алгоритм»

2017

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Лихачев Д. С.

В блокадном Ленинграде / Д. С. Лихачев — «Алгоритм»,
2017 — (Моя война)

ISBN 978-5-906979-93-3

Дмитрий Сергеевич Лихачев – всемирно известный ученый: филолог, культуролог, искусствовед, автор около 500 научных и 600 публицистических трудов; Председатель правления Российского (Советского до 1991 года) фонда культуры. В годы Великой Отечественной войны он находился в осажденном гитлеровцами Ленинграде, где видел все ужасы блокады. В своих воспоминаниях он пишет об этом; подробности жизни «блокадников», усилия по обороне города показаны на фоне общих раздумий о морально-нравственном состоянии людей в этих тяжелейших условиях, о войне, о политическом и общественном строе СССР и Германии, о причинах мирового конфликта.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906979-93-3

© Лихачев Д. С., 2017
© Алгоритм, 2017

Содержание

Старый Петербург	6
Детство	13
Куоккала	15
Красный террор	22
Университет	24
Арест и тюрьма	28
Соловки	32
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Дмитрий Лихачев

В блокадном Ленинграде

© Лихачев Д.С., правообладатели, 2017

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Старый Петербург

Петербург-Ленинград – город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать – нельзя полюбить Петербург. Петропавловская крепость – символ трагедий, Зимний дворец на другом берегу – символ плененной красоты.

Петербург и Ленинград – это совсем разные города. Не во всем, конечно. Кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге прозревается Ленинград, а в Ленинграде мелькает Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия.

Первые впечатления детства: барки, барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Катали выгружают барки тачками. Быстро, быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Здесь в любое время года, а особенно осенью, когда это необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. На Лебяжьей канавке у Летнего сада пристают большие лодки с глиняной посудой – горшками, тарелками, кружками, – а бывают и игрушки, особенно любимы глиняные свистульки. Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами (под мостом трубы полагалось наклонять к корме). Есть места, где качается целый строй, целый лес: это мачты шхун – у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкова моста на Малой Неве.

Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчичьих санках. Зыбки переезды через Неву на яликах (от Университета на противоположную сторону к Адмиралтейству). На бульжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих Морских, кусками у богатых особняков) потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум мостовой.

Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых молодца в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой перекладной для упора, и двигают целую махину груженной дровами или кирпичом барки, а потом идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде. И снова повторяют свою прогулку от носа до кормы.

Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов. Не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен: окна мылись хорошо, и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный Зимний, темно-красный Генеральный штаб и здание Штаба гвардейских войск. Сенат и Синод красные. Сотни других домов красные – казарм, складов и различных «присутственных мест». Стены Литовского замка красные. Эта страшная пересыльная тюрьма – одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется, сохраняет самостоятельность – оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротной, но в темные тона. Трамвайные провода боятся нарушить «право собственности»: они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы! – Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые, они карабкаются по этажам, достигают третьего – повсюду в центре: на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустыньнее. А в небольших

улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и пр. Редко, но висит сапог, ножницы. Все они огромные. Это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами: козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройные ряды тумб. У очень многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролетов. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладной, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить.

В частые праздники – церковные и «царские» – вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой Морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицы от дома к противоположному канатах.

Но зато какие красивые первые этажи главных улиц. Парадные двери содержатся в чистоте. Их полируют. У них красивые начищенные медные ручки (в Ленинграде их сняли в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя). Стекла всегда чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными кадками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях – передохнуть свежим воздухом. Они не только в дворцовых подъездах – но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны – особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в Гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями: зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издали.

Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского («солнечная сторона» – это почти официальное название четных домов Невского). Запомнились витрины магазина с поддельными бриллиантами – Тэта. Посередине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками: «бриллианты» сверкают, переливаются.

Асфальт – это теперь, а раньше – тротуары из известняка, а мостовые булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее огромные гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаакию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы, и, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было держать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками, случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. А ведь как красиво подбирали они булыжник к булыжнику, плоской стороной кверху. Это была работа на совесть, работа художников в своем деле. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы: из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне булыжники после дождя или поливки. О торцовых мостовых писалось много – в них также была своя красота и удобство. Но в наводнение 1924 года они погубили многих: всплыли и потащили за собой прохожих.

Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались: поди ищи! Конки были довольно мрачные по цвету: темно-сине-серые с серыми деталями. А трамваи очень оживляли город: они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие.

Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было поставлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой белый круг, означавший перед, и переносил его назад; там ставил. Во время Первой мировой войны понадобились прицепные вагоны: население увеличилось. Вагоны конки переделывались: снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет, и их прицепляли к моторным вагонам, вскоре исчезли и белые круги для обозначения передней части: перед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно: в нем трясло, скорость для них была необычной, и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали.

Кстати, площадки трамваев были открытыми: летом ехать – удовольствие, зимой – холодно. Но все военные и революционные годы пассажиры набивались в вагоны, висели на ступеньках, держась за поручни, висели на «колбасе» и иногда разбивались о трамвайные столбы.

Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цоканье извозчичьих лошадей было кокетливо-нежным. Этому цоканью мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь и в сухую погоду. Помню, как с дачи, из Куоккалы, мы возвращались осенью в город, и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим «мокрым цоканьем» – дождевым. А потом – мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый «вкусный» топот копыт по ним же – там, за Литейным мостом. И еще покрикивание извозчиков на переходящих улицу: «Э-эп!». Редко кричали «берегись» (отсюда – «брысь»): только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям (погоняли их) с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликали названия газет, а во время Первой мировой войны и что-нибудь из последних новостей. Приглашающие купить выкрики («пирожки», «яблоки», «папиросы») появились только в период НЭПа.

На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было: очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики Финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана.

Одним из самых «типичных» уличных звуков Петербурга перед Первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка. Первый звонок – перед тем как трамваю тронуться. Кондуктор (до войны – всегда мужчина в форме) на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке, к которой были прикреплены кожаные петли, за них могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились и электрические звонки. Довольно долго ножные педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь

кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по «станциям» – на участки пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересесть в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетам станция!», или «Зеленым билетам станция!», или «Красным билетам станция!». Интонации этих «возглашений» запомнились мне на всю жизнь: в школу я ездил на трамваях.

Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала; ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост. Были и «тихие звуки»: звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили. Шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах (особенно у Гостиного на углу Невского и Садовой) торговцы продавали детям надутые легким газом взлетающие шарики; красные, зеленые, синие, желтые и самые большие – белые с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда царил оживление. Продавцов было издали видно по клубившимся над их головой связкам веселых шариков.

В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень – это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали: «Сбитню горячего!». Я запомнил со слов отца: не «сбитня», а именно «сбитню».

А по утрам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу, – не у всех дома были часы. Эти гудки были тревожными, призывными...

Зимой – самые элегантные сани с вороными конями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчичьи сани были тоже красивыми.

Как ребенка, меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов: что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых.

Магазины, впрочем, помню – те, в которые заходил с матерью: «колонияльные товары» (кофе, чай, корица, еще что-то), «бакалея», «суровский магазин» (ткани, нитки), «булочные», «кондитерские», «писчебумажные». Слова «продукты» в нынешнем значении не было («продукты» – только продукция чего-то; «продукты сельского хозяйства» стали говорить на моей памяти). На рынок ходили за «провизией». Продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине «Масло». Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа.

Первые кинематографы. Совсем забыли, что на узкой Офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж», – около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины (помню «Сто дней Наполеона», «Гибель «Титаника» – это документальный фильм, оператор снимал всю паро-

ходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке) обязательно давалась комическая (с участием Макса Линдера, Мациста и др.) и «видовая». Последняя раскрашивалась часто от руки – каждый кадр, и непременно в яркие цвета: красный, зеленый – для зелени, синий – для неба. Однажды были на Невском в «Паризиане» или «Пикадилли» – не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках.

Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два балетных абонементов в ложу третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Снобы офицеры в антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам.

На Страстной и к пасхальной заутрене ходили на Почтамтскую улицу в домовую церковь Главного управления почт и телеграфов, где служил отец столоначальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество спрятано за карнизы. Лампады горели электрические, и это некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением – это была его инициатива. Когда входила семья (наша или другая), служитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах службы можно было присесть отдохнуть. Позже я узнал, что в ту же церковь ходила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром. Но он был старше меня.

Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших во дворе. Во двор приходили старьевщики-татары; кричали «халат-халат!». Заходили шарманщики, и однажды я видел «петрушку», удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки (петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос). Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон: он как бы отсутствовал.

Ходили мы смотреть столетних гренадер из Золотой роты у памятника Николаю I. Это были солдаты, служившие еще Николаю I. Их, оставшихся, собирали со всей России и привозили в Петербург. Ходили мы и на разводы караула к Зимнему. Вся церемония происходила во дворе на специальной платформе, мы ее не видели. Но на развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой, игравшей бравурные марши – оглушительно под аркой Генерального штаба, отзывавшейся эхом.

Петербург был городом не только трагической, но и скрытой (во дворцах и за вывесками) красоты. Зимний – сплошь темный ночами (государь с семьей жил в Александровском дворце в Царском Селе). Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма. Взметнувшийся шпиль собора – и меч и флюгер одновременно – кому-то угрожал.

Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушали государственный порядок города. В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей (зимой катания на оленях, летом – зверинец и пруды с золотыми рыбками) среди дворцов, словно под присмотром бонн и гувернанток. Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищуривался одним среди многих единственным замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел.

О старом Петербурге вспоминает В. Вейдле в книге «Зимнее солнце». Дом, принадлежавший Вейдле, находился на Большой Морской около арки Генерального штаба. Если идти по левой стороне от арки Генерального штаба, то первый дом № 6 – гостиница «Франция» с рестораном «Малый Ярославец», а дальше французская булочная с круассанами и шоссонами – такими же, как в Париже. Французские булочки из Испании – там они тоже назывались

«французскими», но во Франции не пеклись. Затем ювелир Болин со швейцаром. На углу табачная лавочка. Тут же посыльные в красных фуражках. Напротив дом мебельной фабрики Тонет – фабрика венских стульев, легких и удобных.

Перейдя Невский – закусочная Смурова. В бельэтаже – Английский магазин, где продавалось английское темно-бурое глицериновое мыло. На Невском напротив – «Цветы из Ниццы», даже зимой. Наискось от сигар – «Дациаро: поставщик всего нужного для художеств». Над ним – «Генрих Циммерман» (для музыкантов). Посредине, возле окон второго этажа над улицей на чугунном укрепе «Павел Буре» – часы, показывавшие точное время.

Далее по Большой Морской – ресторан Кюба с тяжелыми кремовыми гардинами. Это, по воспоминаниям Юлии Николаевны Данзас, единственный ресторан такого хорошего тона, что туда можно было пойти приличной даме без сопровождения кавалера. Затем магазин Мюллера – лучших сундуков и саквояжей. В 1916 году драгоценности Эрмитажа решили эвакуировать в чемоданах этой фирмы. Хранитель – барон Фелькерзам.

На гранитной облицовке по Большой Морской было золотыми буквами начертано «Faberge». Напротив – важный портной Калина. Далее Большая Морская встречалась с Мойкой Реформатской киркой (перестроена ныне в Дом связи).

М. Добужинский пишет в своих «Воспоминаниях», что его жена «была одета с «петербургским» вкусом в темно-синее, носила маленькую изящную шляпку с вуалькой в черных мушках и белые перчатки». «Часто на улицах я видел, – продолжает Добужинский, – как она обращает на себя внимание, выделяясь среди старомодных немок, как «иностранка». О петербургских элегантных дамах пишет и Вадим Андреев в своих воспоминаниях «Отец». Рассказывал мне о них с восхищением и известный библиограф А. Г. Фомин. Он особенно подчеркивал изящество походки. Когда я был в Белграде в 1964 году, профессор Радован Лалич указал мне на одну пожилую даму: «Сразу видна русская из Петербурга». Почему «сразу»? Держалась очень прямо и имела прекрасную легкую походку.

Ночная жизнь была типична для петербургской интеллигенции: петербургский «noctambulisme» («лунатизм»). «Монд» ложился не ранее трех часов ночи. Редко поднимались раньше 11 утра. Процветали ночные кабачки, и «Бродячая собака» в особенности. Здесь было «le rendezvous des distingues» («встреча избранных»).

Годы 1917–1950-е запомнились мне своими темными и скучными красками. Дома если и красились, то уже в один цвет, орнамент не выделялся цветом, да и не чинился. Не стало красивых форм у военных. Люди ходили оборванные и во всем старом, хотя бы и имели новое, но новое было носить опасно – как бы не приняли за «буржуев». По этой же причине не носили белых воротничков, а по большей части надевали в годы Первой мировой и Гражданской подобие френчей, сшитых иногда из самой «невоенной» материи, а еще чаще перешитых из старых пиджаков, сюртуков, визиток и прочей «буржуйской» одежды. Во время Первой мировой войны носили бекешы. Помню Шаляпина, садившегося в трамвай на Введенской – угол Большого проспекта Петроградской стороны; и то я запомнил его не потому, что впервые увидел «знаменитость», а потому, что бекеша Шаляпина была необычного цвета – синяя.

Когда в тридцатых годах мне рассказали, что за границей легковые автомобили имеют разные цвета и можно встретить даже красные, желтые, голубые, я как-то не мог себе это представить – настолько я привык ко всему черному в автомобильном хозяйстве.

Когда перед самым арестом я заказал себе костюм за сорок рублей (а это были в 1927 г. большие деньги, заработанные мною на подборке книг для Фонетического института иностранных языков, которым ведал тогда в частном порядке Семен Карлович Боянус – мой учитель английской фонетики), то передо мной был выбор – только черный или темно-синий. И я заказал себе темно-синий, оказавшийся по получении его просто черным. Я так его ни

разу и не надел. Носил его мой брат Юра. По возвращении же из лагеря родители купили мне грубошерстный черный костюм, в котором я проходил до окончания войны.

Темно-коричневая толстовка, остальное все черное, поношенное, с темными рубашками. И бритвы у меня не было, а стриг я бороду сохранившейся с дореволюционных времен машинкой под два нуля... Таковы были цвета трех десятилетий нашей советской жизни.

Погода в Петербурге менялась очень часто и всегда сопровождалась каким-то особым настроением. Зимой то тихо падает снег, то завивается или бурно мчится, то мокрыми хлопьями, то сухой крупой, то сечет лицо холодом, то нежно его остужает.

Летом духота и жара делают человека слабым и безразличным – прохожие приостанавливаются, стоят без видимой цели и заботы. Лошади падают от солнечных ударов. Собирается гроза, и гром гулко сотрясает железные крыши домов. Нева меняет окраску: из спокойно текущей ощеривается темной рябью.

Никогда не бывает город так гордо красив, как весной, особенно когда цветет наполняющая его сады и парки сирень, когда-то в Петербурге столь обильная и пышно богатая.

Ранней осенью в безветренные солнечные дни воздух прозрачен, и на Неве видна каждая деталь, а под вечер дома и дворцы на Неве кажутся аппликациями, вырезанными из бумаги и наклеенными на синий картон неба.

Погода постоянно обращена к человеку. Она о нем помнит, создает ему настроение. Петербург кажется гигантской театральной сценой, «постановочным пространством» для самых больших исторических трагедий, а иногда и комедийных импровизаций.

Все это я пишу, осмысливая свои детские впечатления, в которых перемены погоды занимают особое место, ибо родители бдительно следят за тем, как я одеваюсь, выходя на улицу. То нужен башлык, и башлык можно повязать по-разному – стоячком или просто за спину, а то и обмотать вокруг шапки и шеи. Иногда галоши надо сменить на ботики, надеть гамашки или теплые чулочки. Все зависит от погоды. Петербург живет погодой больше, чем любой другой город России. Выходишь в одну погоду, а возвращаешься в другую.

Изменилась ли погода в Петербурге со времен моего детства? Что называть погодой? Если в погоду включать снег и его поведение на мостовой, тротуарах, крышах, то изменилась. Если в погоду включать дым из множества труб, когда-то поднимавшийся вертикально в низкое осеннее небо (и, наоборот, в очень высокое зимой) или гонимый ветром над крышами, то этих эффектов погоды сейчас уже нет. Не топят в городе тысячи кафельных печей и больших кухонных плит, не разжигаются самовары, меньше дымят трубы заводов, и нет пароводных дымов. Другим стал запах уличного воздуха, даже его ощущение лицом. Десятки тысяч лошадей, обдававших прохожих своим теплом, как это ни странно, делали воздух города менее «официальным». Я не оговорился: именно «менее официальным», менее безразличным к человеку.

В «Поэме без героя» Ахматовой удивительно передана маскарадная атмосфера Петербурга, в немалой степени зависевшая от погоды города, таинственной в своих изменениях и тончайших нюансах.

Детство

Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только начинал говорить. Помню, как в кабинете отца сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им – зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, а отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покукать». Мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Маклина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, – он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка – «Берчика». Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик «воспитывал» в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешли в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он «воспитывал» потом мою внучку, неизменно молчаливой и ласковой.

Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций – сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал – наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены – время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем лавра и самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея на случай, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алушке. И такой близкой казалась эта война, точно она была вчера, – всего 50 лет назад!

Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонементов. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья – Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра и поэтому мог доставать ложи на оба балетных абонементов. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, – «Щелкунчик», и больше всего меня поразило снег, падавший на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, – это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались больше для того, чтобы заставить играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и зал и сцена сливались в одно целое. Помню, как «вылетала» на сцену «коротконожка» Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в такт танцу. Какое это было

великолепное и парадное зрелище! Но больше всего мои родители любили Спесивцеву и были снисходительны к Люком.

Известный в свое время балетоман В. Крымов пишет в своей заметке «В балете»: «Балет сохранил свои традиции до наших дней (статья относится к 1914 г. – Д. Л.). Традиция и на сцене, традиция и в зрительном зале. Разве не традиция П. П. Дурново, сидящий в одном и том же кресле правого ряда 37 лет! Разве не традиция «первый балетный абонемент», где все ложи бенуара и бельэтажа известны всем поименно, где в первом и во втором рядах кресел все кивают друг другу и зовут по имени.

– «Ложа яхт-клуба», «ложа уланов», «ложа Половцевых», «ложа Кшесинской».

– «Почему нет Лихачевых?», «Где Бакеркина? В ее ложе кто-то другой...»

– «А вот Кшесинская у себя в ложе... полтора года ее не было видно – была в трауре...»

Ге, Винтулов, Светлов, адм. Веселаго, Чихачев, адм. Берилев, Плещеев, Померанцев, веселый купец во втором ряду налево – разве без них может идти представление? Они такая же неотъемлемая часть «Капризов бабочки» или «Дон Кихота», как и те, кто на сцене» («Столица и усадьба». 1914. № 3. С. 16).

Считалось модным не пропускать ни одного представления «Дон Кихота», но при этом не приходило на пролог, в котором Дон Кихот собирается в поход – на этот пролог приходили либо новички, либо на дневных спектаклях с детьми. Пропускать пролог было так же бонтоно, как гулять в антрактах в коридоре партера, не поднимаясь в большое фойе, где у царской ложи неподвижно стыли часовые – были ли в ней придворные или нет (сама царская семья сидела всегда справа от сцены в ложе бенуара за голубыми портьерами).

Раз в год поездка в Павловск «пошуршать листьями», раз в год посещение Домика Петра Великого перед началом учебного года (таков был петербургский обычай), прогулки на пароходах Финляндского пароходного общества, бульон в чашках с пирожком в ожидании поезда на элегантном Финляндском вокзале, встречи с Глазуновым в зале Дворянского собрания (теперь зал Филармонии), с Мейерхольдом в поезде Финляндской железной дороги – этого было достаточно, чтобы стереть границы между городом и искусством...

По вечерам дома мы играли в любимое цифровое лото, играли в шашки; отец обсуждал прочитанное им накануне на ночь – произведения Лескова, исторические романы Всеволода Соловьева, романы Мамина-Сибиряка. Все это в широко доступных дешевых изданиях – приложениях к «Ниве».

Куоккала

Квартира из пяти комнат стоила половину отцовского жалования. Весной мы рано уезжали на дачу, отказываясь от квартиры и нанимая в том же районе Мариинского театра осенью. Так семья сэкономила деньги.

Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция – преимущественно артистическая.

Сейчас мало кто себе представляет, какими были дачные местности и дачная жизнь. Постараюсь рассказать о местности, с которой связано мое детство, – о Куоккале (теперь Репино).

В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Грэнхагена о Куоккале сказано мало и сухо: «Куоккала (42 килом. от СПб.). Станция находится в одной версте от берега залива. В летнее время местность густо населена дачниками. Однако скученность построек и отсутствие хороших дорог являются крупным недочетом в ряду прочих более или менее удовлетворительных условий дачной жизни. В особенности плохи дороги к северу от ж.-д. станции. Песчаная местность, покрытая сосновым лесом, в общем вполне пригодна для дачной жизни. Имеются лавки, аптека и даже театр. Лучшие дачи расположены вдоль береговой линии и отдаются внаем за высокую плату. Недорогие дачи находятся к северу от ж.-д. станции. Многие из них также заняты зимою. Имеется прав. церковь». Далее мелким шрифтом напечатано любопытное сообщение: «В последние годы русской революции (имеется в виду революция 1905 года. – Д. Л.) здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккалы (Хаапала) «фабрики бомб» финляндская администрация в силу закона 1826 года пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в петербургское охранное отделение».

О Куоккале, как интереснейшей дачной местности Петербурга, я писал и говорил (по телевидению в фильме о К. И. Чуковском «Огневой вы человек»). Здесь жила летом небогатая часть петербургской интеллигенции. Две дачи принадлежали зимогорам Анненковым (из этой дворянской семьи, сыгравшей большую роль в русской культуре, вышел и художник Юрий Анненков); на самом берегу против Куоккальской бухты была дача Пуни. Владелец ее Альберт Пуни, принявший православие с именем Андрей (поэтому часть его детей были Альбертовичи, а другие – Андреевичи), виолончелист Мариинского театра, был сыном автора балетной музыки и владельцем большого доходного дома на углу Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Его сын стал известным живописцем во Франции (под именем Жан Пюни) и до конца жизни любил писать пляжи, напомиавшие ему о его счастливым детстве.

Уезжая во Францию, Мария Альбертовна оставила нам два гобелена (один с видом Венеции до сих пор цел у нас), Детскую энциклопедию, которую я чрезвычайно любил, миланский кофейник коричневого цвета с чашечками и еще что-то на память.

Была ранняя весна. Пуни заехали в Куоккалу к отцу, и именно тогда Репин подарил отцу Марии Альбертовны ее акварельный портрет в пляжном костюме, пририсовав на нем легкий контур Эйфелевой башни, под сенью которой ей предстояло жить.

Самые счастливые воспоминания детства связаны у меня с пляжем в Куоккале. Как вчерашние, я помню дни, с утра проведенные на пляже у своей будки. Эта будка была непременной принадлежностью сдаваемых дач. Дача сдавалась только целиком. По комнатам нанять или сдать дачу никому еще не приходило в голову. И вот весной, как только дачники переезжали на нанятую ими дачу, хозяин водворял будку на воз и вез ее на пляж, где вместе с моим отцом они выбирали место для «нашей» будки. Часто будок было так много, что

их выстраивали в два ряда (естественно, что в менее удобном втором ряду ставились будки поздно переехавших на дачу).

В будке хранились шезлонги, купальные костюмы, игрушки. Я больше всего любил игрушечные яхты с килем и парусом. Недолго был у меня и «военный корабль». Его заводили, он отплывал, раздавался выстрел, и он поворачивал к берегу. 2–3 раза эти пускания броненосца мне нравились, но уж очень он был «нереальным». Гораздо больше мне нравилось ставить парус и руль на игрушечной яхте и пускать ее плавать косо к ветру. Море было мелким, и идти за яхточкой можно было долго...

В 12 часов на пляже мы пили молоко, принесенное утром в бутылке и закопанное в прохладный сырой песок позади будки.

Счастьем было наблюдать артиллерийские учения на фортах. Ближе всего в Куоккале был форт «Тотлебен». Мимо него на канате буксир тянул белый щит, хорошо нам видный, по нему артиллеристы стреляли. Попадание нам не было видно, но звук выстрела мне нравился чрезвычайно. Он был несколько приглушен и растянут водой и вместе с гомоном купающихся создавал ту симфонию звуков, которая сливается для меня со звуковыми ассоциациями детства.

Позади будок мы с братом строили окопы и «сражались» друг с другом в обществе товарищей, кидая шишки, намачивая их водой или «приготовляя» их к киданию в сыром песке: чтобы они сложились и летели дальше.

А еще дальше рос прекрасный сосновый лес, над которым возвышался ветряк, не то вырабатывавший электричество, не то наполнявший водой из колодца водонапорную башню богатых соседей дачевладельцев...

А еще мне нравилось делать из высохшего тростника, который прибивало ветром со стороны Петергофа, где он рос, разнообразные «гидропланчики» и пускать их особенно тогда, когда ветер был со стороны берега. «Гидропланчики» уходили в море на большой скорости.

Папу из города встречаем всей семьей.

Мама с куоккальскими дамами сидит на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя, по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность – к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, а иногда игрушку: серсо, игрушечную парусную яхточку, заводной пароходик (играть в воде мне особенно нравилось, и сохранилась даже фотография – я на море, по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног парусная игрушечная лодочка).

Жду, смотрю вдаль. И вот появляется мой «человечек»: пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище – это котел. Большая голова – труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка (паровоз, несомненно, мужчина, господин) – это предохранительная сетка, расширяющаяся книзу, к рельсам.

Приближается. Тонко, на заграничный лад, свистит (русские паровозы гудят басом, как парходы). Потом подкатывает, работая колесами (любимая игра детей моего, пятилетнего, возраста – изображать собой паровоз, двигая локтями, как поршнями). Тянутся вагоны – синие, зеленые и красные, но значение цветов другое, чем русских. Сейчас я уже точно не помню. Кажется, синие вагоны – первого класса. Из синих вагонов выходят первыми финские кондукторы в черной форме, становятся у лесенки и помогают пассажирам выходить. Появляется отец и, целуя маму, рассказывает, с кем ехал. Однажды в окне вагона мне показали барона Мейерхольда, он ехал дальше, в Териоки. Чудится, что я его запомнил, и запомнил именно как барона. Как барона его знали и средние дачники – инженеры, чиновники. Другие дачники и зимогоры были художниками: Пуни, Анненковы, Репины и другие. Почему-то они представлялись мне другой породы – итальянцами, брюнетами, заводилами разных забав. Постепенно все разъезжаются на финских двуколках. Несутся двуколки

с быстротой ветра, а если пассажиров несколько, финн-хозяин стоит на оси колеса и управляет с ловкостью циркача. Но главное – скорость.

Вечером, когда приезжал со службы из Петербурга отец, мы обедали, я бежал через Большую дорогу (теперь – Приморское шоссе) в ларек к его владелице, пожилой вдове, покупал у нее семечек и сосательных финских конфет, возвращался, и мы шли гулять по берегу. Семечки мы не лущили, а чистили ногтями (теперь так никто не делает), а отец задавал нам загадки. Одна из них была такая: он точно указывал, не смотря на Толбухин маяк, – когда маяк зажигался и когда гас. Сперва я думал, что он делает это по отражению в своем пенсне, но отец снимал пенсне и все же угадывал! Просто он отсчитывал время – знал периодичность его вспыхивания.

На границе с Оллилой (ныне Солнечное) были репинские Пенаты. Около Пенат построил себе дачу К. И. Чуковский (помог ему в этом – и деньгами, и советами – И. Е. Репин). На мызе Лентулла по Аптекарской дорожке (теперь ее именуют Аптекарской аллеей) жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский, наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин (он, кстати, лечил и меня), приезжали к Репину Леонид Андреев, Шаляпин и многие другие. Некоторых я встречал на Большой дороге – главной улице Куоккалы – и в чудесном общедоступном парке сестер Ридингер, о котором не удосужился упомянуть автор цитировавшегося мною выше путеводителя. По вечерам мы гуляли либо по самому берегу залива, по сырому укатанному волнами песку, либо по бетонной дорожке, которая шла к глубине пляжа около заборов выходивших к морю дач.

Куоккальские дачи имели заборы всегда деревянные и всегда различные, пестро окрашенные. У заборов останавливались разносчики и финские возки: «молоко, метана, ливки» (финны не произносили двух согласных звуков в начале слова: только второй). Разносчики часто бывали ярославцы, торговавшие зеленью, булками, пирожными. Корзинки с товарами носили на голове, подкладывая мягкий круг. Цыгане били в котел и кричали: «Лудить, паять...» – и еще что-то третье, что – я уже забыл. За пределами дачной местности часто стоял цыганский табор. Работали честно и честно возвращали заказы.

Если погода безветренная, особенно утром – в предвещии жары, то, прислушавшись, на берегу можно было слышать как бы басовитые гудки: у-у-у, у-у-у, у-у-у! Это в Куоккале слышен на пляже звон большого колокола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, самый большой в городе. И в определенный час, пока еще пляж не наполнится людьми, мы бегали к морю послушать Исаакий.

Море становилось торжественным и значительным, когда через воду долетал еле слышный звук тяжелого колокола Исаакия. С тех пор я знаю, что такое «пуститься во все тяжкие». И я запомнил двойное значение этого выражения: мы бежали к морю «во все тяжкие» и слышали «тяжкий» колокол Исаакия.

А днем в жару пляж гудел, как улей, роем детских голосов, радостных, испуганных, когда окунались, озорных при игре, но всегда приглушенных водой, расплывающихся, нерезких. Эта музыка пляжа слышна и сейчас, и до сих пор я ее очень люблю.

Что за чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала!

Куоккала была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, брали с собой молоко и завтрак, пропуская обеденное время, принятое зимой, – в час. У каждой дачной семьи, как я уже сказал, была своя будка, часто своя лодка. От пляжа в море шли мостки, с которых было весело кувыркаться в воду. Мостки были и частные, и общественные – за деньги. По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр: это означало, что было благотворительное представление. Представления были и в куоккальском театре. Небольшой оркестрик из четырех отставных немецких солдат ходил по улицам Куоккалы, останавливался перед какой-нибудь дачей и начинал играть – начинал с

«Ойры», любимой финнами песенки. Если им махали рукой, они прекращали игру, но часто мы просили их записать – в какой день прийти, играть танцы на дне рождения или на именинах, когда собирались дети со всей округи.

В дни рождения и именин детей обычно иллюминировали сад китайскими фонариками, обязательно жгли фейерверк; впрочем, Горький на своей даче зажигал не только фейерверки, но и просто костры без всякого повода. Он любил огонь.

Покупали фейерверки в пиротехническом магазине под Городской думой на Невском. На такие веселые вечера сбегались дети со всех дач.

Дети бегали веселыми стайками по Куоккале и продавали благотворительные значки (в день Ромашки – в пользу туберкулезных, во время Первой мировой войны – в пользу раненых).

Интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, «большую крокодилу», матчиш. И дети, и взрослые (иногда вместе, разновозрастными компаниями, а иногда небольшими группами) ходили на длинные прогулки. Раз в лето непременно ходили на музыку в Сестрорецкий курорт (выходили очень рано утром). Чаше ходили «на мельницу»: на Сестре-реке была мельничная запруда (там жил как-то на даче А. Ремизов). «Мельница» (так мы называли всю местность) казалась мне красивейшим местом в мире. Молодежь ездила туда компаниями на велосипедах.

Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись, озорное сочинительство (пьес и стихов), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове.

И какие только национальности не жили в Куоккале: русские, финны-крестьяне, сдававшие дешевые дачи (с финскими мальчиками мы играли в прятки и другие шумные игры), петербургские немцы, финляндские шведы, петербургские французы и итальянская семья Пуни – с необыкновенно темпераментным стариком Альбертом Пуни во главе, вечным заводилой различных споров, в которых он всегда и вполне искренне выступал как отчаянный русский патриот.

На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Мировича (Дунаева) «Графиня Эльвира». Но были и «серьезные» спектакли. Репин читал свои воспоминания. Чуковский читал «Крокодила». Жена Репина знакомила с травами и травоедением.

Почти все (кроме новичков) были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на гигантских шагах, делали на них «звездочку», при которой «закрученный» другими катающийся взлетал очень высоко – почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду в винт и преферанс. Неторопливо беседовали. Общественным местом была церковь, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки и можно было поговорить, посплетничать. Во время войны Репин стал особенно религиозен и пел на клиросе. Религиозен стал и зять Пуни – Штерн – управляющий его доходным домом (угол Большого проспекта и Гатчинской улицы). Он был немцем, но в начале Первой мировой войны переименовал фамилию на Астров, принял православие. С Мишей Штерном я дружил.

Одевались весело. Приятельница моей матери Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на щиколотке ноги золотую браслетку (платья к четырнадцат-

тому году укоротились и стали только чуть-чуть нависать над стопой). Девочки Анненковы смущали всех, нося в своем саду брюки. Сам Корней Иванович, вернувшись в 1915 году из Англии, куда он ездил с какой-то делегацией, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. А писатели – те все выдумывали себе разные костюмы: Горький одевался по-своему, красавец Леонид Андреев по-своему, Маяковский по-своему... Всех их можно было встретить на Большой дороге в Куоккале (теперь Приморское шоссе), они либо жили в Куоккале, либо приезжали в Куоккалу.

Люди искусства стали для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми.

Свой куоккальский озорной характер К. И. Чуковский сохранял до конца жизни. Вот что мне рассказывала старший врач санатория Академии наук «Узкое» Татьяна Александровна Афанасьева. Жил К. И. Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате 26. Возвращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в Узком (по-старинному «Ужское») было много. Навешивал ужей себе на шею и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы и поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат: «Сплю». Такой лист висел часов до трех дня. Приезжавшие к Корнею Ивановичу из Москвы ждали, ждали и в конце концов часто уезжали. Татьяна Александровна рассказывала и о следующей проделке. Бывало, он бросался на колени перед сестрами, приносившими ему лекарства (обычно травяные настойки: сердечные, успокаивающие, снотворные), и умолял их с трагическими жестами забрать лекарства назад.

Давняя подавальщица в столовой Антонина Ивановна тоже хорошо помнит Корнея Ивановича: «Ох, и чудил же», а сама смеется. То было уже в Узком, но стиль поведения был куоккальский.

Веселая и озорная дачная жизнь Куоккалы приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море). Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук, – точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Еще чаще было видно, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба.

Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, радуется – талантливых озорников. Я в детстве жил в Куоккале недалеко от Пенат Репина. Он очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, красавца Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутивными выставками. Д. Н. Чуковский подарил мне афишу выступления куоккальских озорников в местном театре. О Куоккале как одной из родин европейского авангардизма стоило бы мне написать отдельно. Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени становится все меньше и меньше. В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы» Н. А. Заболоцкого. Я до сих пор их очень люблю. Люблю веселое искусство – в том числе праздничный балет, классический, «мариинский». Люблю веселое искусство природы: цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, «мирные» пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости.

Летом 1915 года в Куоккале появились новые «зимогоры» – беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчишки, дразнили поляков словами «цото бендзе» («что-то будет!»), которые они часто произносили в своих тревожных

разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчики! Цото бендзе – и для вас и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали.

И еще одно сильное впечатление в Куоккале. В пасхальную неделю, как и во всех русских православных церквах, разрешалось звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами!

Был в Куоккале один случай, который «прославил» нас с братом среди всех дачников. Ветер дул с берега (самый опасный). Мой старший брат Миша снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке и предложил прокатиться под «парусом» вполне домашнему мальчику – внуку сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа (он впоследствии, после Второй мировой войны, работал архитектором-реставратором в Новгороде) пошел к своей бабушке и спросил у нее разрешения прокатиться. Бабушка была франтиха с фиолетовыми глазами, сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила Мишу только – не промочит ли Сережа ноги: в лодке ведь всегда есть на дне вода. Велела Сереже надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Северный ветер тихий, как всегда у берега, усилился вдаль. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел: синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств, могла захлебнуться и утонуть. А на берегу за загородкой из простыни загорал проректор Петербургского университета – красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И, о ужас! – в одних трусах – тогда это считалось неприличным. Он поднял бабушку с фиолетовыми глазами и понес ее к берегу. А я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно, догадавшись все же, что что-то случилось: «На море все спокойно?». Я немедленно ответил: «На море все спокойно, но Миша тонет». Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда внезапно случалось что-либо неприятное.

А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать и велел сбросить галоши. Но Сережа не хотел – то ли чтобы не послушаться бабушки, то ли потому, что было жаль блестящих галош с медными буквами «С.Д.» («Сережа Давыдов»). Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза подействовала, а от берега уже гребли лодки и лодки.

Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж пороть, а затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель!», а «спаситель» шел мрачный, с зареванной физиономией.

Хвалили и меня за «мудрую» выдержку. А однажды в особенно сильную бурю кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор не люблю обманчивого берегового ветра.

Лето длилось бесконечно долго. И в город я возвращался каждый раз повзрослевшим.

И опять «связь времен». Дачевладелец серб А. Шайкович, у которого мы снимали дачу последние три года перед революцией, оказывается, переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой перевод «Слова» на сербский язык в Гельсингфорсе.

И еще раз «связь времен». Когда рукопись этих моих воспоминаний была совершенно готова, я полистал очерк К. И. Чуковского о Короленке. Выяснилось, что Владимир

Галактионович Короленко чрезвычайно любил бросать на тихую поверхность моря плоские камешки и был своего рода чемпионом этой игры. Я тоже любил это занятие, и осенью 1931 года мы развлекались с племянником писателя Владимиром Юльяновичем Короленко во время своих тайных прогулок в лесу у соловецких озер (об этом дальше). Оказывается, «печь блины» было любимым занятием Короленок...

Часть Финского залива, отделенная сейчас от остальной его части дамбой, до сих пор называется Маркизовой лужей: в первые годы XIX века здесь обычно устраивал морские учения маркиз де Траверсе. Море располагало к забавам.

Жизнь дачной местности летом была совершенно непохожа на современную. Дачники постоянно общались, ходили друг к другу в гости, обсуждали все новости – как газетные, так и местные. Каждый заботился о своей репутации, о том, что о нем говорят. Наряжались не только для того, чтобы похвастаться своей портнихой, но и чтобы создать «свой образ». Мария Альбертовна Пуни одевалась экстравагантно, другие – подчеркнуто скромно или «строго» – в аристократическом вкусе.

Все это создавало культуру. Культура дачного общества была повторением русской культуры в целом, но в меньшем масштабе. Она носила разговорный характер. Мнение каждого вырабатывалось в беседах с друзьями, иногда в спорах, которые не вели к вражде, но создавали интеллектуальную индивидуальность каждого.

К прогулкам готовились за неделю. Обсуждались наряды. Прогулочный костюм должен был быть скромным и вместе с тем красивым. Обувь! – это был главный вопрос для дам. Готовились бутерброды, закуски, напитки. Надо было не только поесть семье, но и угостить знакомых.

У садовницы-финки, к которой я зашел в 1985 г. в Комарове, чтобы купить цветов для кладбища, я спросил: не помнит ли она пансионат «Юлия» на Церковной улице в Келомяках, где мы жили. «Юлии» она не вспомнила, а о пансионатах и Куоккале мы разговорились. Вот что она рассказывала:

«Когда здесь русские господа жили, как здесь было весело, сколько было праздников. На Троицу, бывало, все березками украшено – даже поезда с березками ходили. На берегу вечерами оркестр играл. Компании водили. В ветреную погоду змея пускали. А теперь есть ли змеи? А тогда и взрослые и дети пускать змея любили. На Иванов день костры жгли, бочки со смолой. В крокет играли. А теперь и крокет забыли. Наверное, и не продается? На станции встречать поезда ходили. Около всех станций садики были. С поезда разъезд был. Много таратаек ехало. Финские лошадки маленькие, но быстрые и выносливые.

Финны русских господ любили... Русские вежливые были, приветливые».

...Осенью 1914 года, когда началась Первая мировая война, мы жили на даче близко от Большой дороги. Ждали десанта немцев в Финляндии. Дачники спешно уезжали в Питер. Вагонов для перевозки дачного скарба не хватало. Финны везли тяжело нагруженные телеги мимо нашей дачи и часто застревали в песке. Тревога усиливалась лесными пожарами (лето было засушливое). В воздухе стоял запах дыма. Время детского рая кончилось навсегда...

Красный террор

Русская культура «серебряного века» (век этот, впрочем, длился всего четверть столетия) рождалась в разговорах, беседах – откровенных, свободных, вскрывавших заветные мысли. В беседах этих, в которых по каким-то особым законам духа должно было быть не меньше трех собеседников, рождались новые мысли, новые «откровения». Беседуя, человек формулировал, оттачивал мысль, прокладывал дорогу для новых мыслей. Полная свобода в этих разговорах была условием их плодотворности. Отнюдь не случайно с 1928 г., с приходом к власти Сталина и его диктатуры над умами и душами, начались гонения именно на кружки интеллигенции, на их встречи и на их беседы.

«Русские разговоры», длительные, за полночь, – типичная и очень плодотворная черта русской культуры XIX – первой четверти XX вв.

В своих воспоминаниях мне хотелось бы рассказать о том, чем жила думающая русская молодежь в эти годы, конечно, через узкую «щель» моего личного опыта. Я не вел записок, кроме тех, которые были сделаны на Соловках и сразу по возвращении в Ленинград. Не могу уже сейчас точно восстановить даты. Что помню, то помню.

Есть принципиальное различие в том, как начинались кружки в 20-е годы и как возникают ученые общества сейчас. Тогда достаточно было найти временное помещение для заседаний, чтобы назначить лекцию, доклад, открыть дискуссию. Если появлялась серия выступлений или спорный вопрос растягивался на несколько заседаний, иногда не очень ясных – кто их созывает, – появлялось и желание окрестить себя и завести книгу протоколов. Комната в квартире, зал школьного театра Тенишевского училища, учительская комната в школе, оповещение от руки написанными объявлениями (а чаще друг через друга) – были вполне достаточными.

Сперва потребность – потом скромное «оформление». Сейчас, в наши дни, нечто совершенно противоположное: прежде всего придумывается название, изыскиваются средства, утверждается штат и т. д. Названия – самые «высокие» и ранг не ниже лица, колледжа, университета, академии и т. д.

Одна из целей моих воспоминаний – развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936–1937 гг. Я думаю, что в будущем статистика арестов и расстрелов покажет, что волны арестов, казней, высылки надвинулись уже с начала 1918 года, еще до официального объявления осенью этого года «красного террора», а затем прибой все время нарастал до самой смерти Сталина, и, кажется, новая волна в 1936–1937 гг. была только «девятым валом»... Открыв форточки в своей квартире на Лахтинской улице, мы ночами в 1918–1919 гг. могли слышать беспорядочные выстрелы и короткие пулеметные очереди в стороне Петропавловской крепости.

Не Сталин начал «красный террор». Он, придя к власти, только резко увеличил его, до невероятных размеров.

В годах 1936-м и 1937-м начались аресты видных деятелей всевластной партии, и это, как кажется, больше всего поразило воображение современников. Пока в 20-х и начале 30-х годов тысячами расстреливали офицеров, «буржуев», профессоров и особенно священников и монахов вместе с русским, украинским и белорусским крестьянством – все казалось «естественным». Но затем началось «самопожирание власти», оставившее в стране лишь самое серое и безличное, – то, что пряталось, или то, что приспособлялось.

Пока же в стране оставались мыслящие люди – люди, обладавшие своей индивидуальностью, умственная жизнь в ней не прекращалась – ни в тюрьмах и лагерях, ни на воле. Чуть-чуть захватив в своей молодости людей «серебряного века» русской культуры, я почувствовал их силу, мужество и способность сопротивляться всем процессам разложения в обще-

стве. Русская интеллигенция никогда не была «гнилой». Подвергнувшись «гниению», только ее часть начала участвовать в идеологических кампаниях, проработках, борьбе за «чистоту линии», и тем самым перестала быть интеллигенцией. Эта часть была мала, основная же уже была истреблена в войне 1914–1917 гг., в революцию, в первые же годы террора.

Мои воспоминания – прежде всего о людях, меня окружавших, об умственной жизни 20-х – начала 30-х гг., поскольку она, эта жизнь, была мне доступна в те годы.

С каждым годом моей юности я ощущал надвигающийся гнилостный дух, убивавший удивительную животворную силу, исходившую от старшего поколения русской интеллигенции.

Дневная эпоха сменялась ночной, люди не спали ночами. Люди жили в ожидании, что перед их окнами вот-вот возникнет и замолкнет шум мотора автомобиля, и в дверях квартиры появится «железный» следователь в сопровождении бледных от ужаса понятых...

Молодость всегда вспоминаешь добром. Но есть у меня, да и у других моих товарищей по школе, университету и кружкам, нечто, что вспоминать больно, что жалит мою память и что было самым тяжелым в мои молодые годы. Это разрушение России и русской церкви, происходившее на наших глазах с убийственной жестокостью и не оставлявшее никаких надежд на возрождение.

Многие убеждены, что любить Родину – это гордиться ею. Нет! Я воспитывался на другой любви – любви-жалости. Неудачи русской армии на фронтах Первой мировой войны, особенно в 1915 г., ранили мое мальчишеское сердце. Я только и мечтал о том, что можно было бы сделать, чтобы спасти Россию. И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 г. древней русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее постели дети, собрать ее изображения, показать их друзьям, рассказать о величии ее мученической жизни.

Университет

Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста: мне не было еще 17 лет. Не хватало нескольких месяцев. Принимали тогда в основном рабочих. Это был едва ли не первый год приема в университет по классовому признаку. Я не был ни рабочим, ни сыном рабочего, а – обыкновенного служащего. Уже тогда имели значение записочки и рекомендации от влиятельных лиц. Такую записочку, стыдно признаться, отец мне добыл, и она сыграла известную роль при моем поступлении. Университет переживал самый острый период своей «перестройки». Активно способствовал или даже проводил перестройку «красный профессор» Николай Севастьянович Державин – известный болгарист и будущий академик.

Появились профессора «красные» и просто профессора. Впрочем, профессоров вообще не было – звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершались условно. Оппоненты заключали свои выступления так: «Если бы это была защита, я бы голосовал за присуждение...» Защита называлась диспутом. Особенно хорошо я помню защиту в такой условной форме, но в очень торжественной обстановке в актовом зале университета – Виктора Максимовича Жирмунского. Ему так же условно была присуждена степень доктора, но совсем не условно аплодировали и подносили цветы. Темой «диспута» была его книга «Пушкин и Байрон».

Так же условно было и деление «условной профессуры» на «красных» и «старых» по признаку – кто как к нам обращался: «товарищи» или «коллеги». «Красные» знали меньше, но обращались к студентам «товарищи»; старые профессора знали больше, но говорили студентам «коллеги». Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересен.

Я поступил на факультет общественных наук. Сокращение ФОН расшифровывалось и так: «Факультет ожидающих невест». Но «невест» там, по нынешним временам, было немного. Просто их много казалось от непривычки: ведь до революции в университете учились только мужчины. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав «условных профессоров»: были пришедшие из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов Гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование. Были «вечные студенты» – учившиеся и работавшие по 10 лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках (к таким принадлежали учившиеся со мной И. И. Соллертинский, И. А. Лихачев (будущий переводчик), П. Лукницкий (будущий писатель), да и многие другие).

На факультете были отделения. Было ОПО – общественно-педагогическое отделение, занимавшееся историческими науками, было этнолого-лингвистическое отделение, названное так по предложению Н. Я. Марра, – здесь занимались филологическими науками. Этнолого-лингвистическое отделение делилось на секции. Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься и на славяно-русской.

Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали курс русской литературы XIX века по книгам, прочесть которых надо было немало. Зато процветали различные курсы на частные темы – «спецкурсы», по современной терминологии. Так, например, В. Л. Комарович вел по вечерам два раза в неделю курс по Достоевскому, и лекции его, начинаясь в шесть часов вечера, затягивались до двенадцатого часа. Он погружал нас в ход своих исследований, излагал материал как научные сообщения, и посещали его лекции многие маститые ученые. Я принимал участие в занятиях у В. М. Жир-

мунского по английской поэзии начала XIX века и по Диккенсу, у В. К. Мюллера по Шекспиру, слушал введение в германистику у Брима, введение в славяноведение у Н. С. Державина, историографию древней русской литературы у члена-корреспондента АН СССР Д. И. Абрамовича, принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у В. Е. Евгеньева-Максимова; англосаксонским и среднеанглийским занимался у С. К. Боянуса, старофранцузским у А. А. Смирнова, слушал введение в философию и занимался логикой у А. И. Введенского, психологией у Басова (этот замечательный ученый очень рано умер), древнецерковнославянским языком у С. П. Обнорского, современным русским языком у Л. П. Якубинского, слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, Б. А. Кржевского, В. Ф. Шишмарева и многих, многих других, посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения, пытался учиться пению по крюкам (ничего не вышло), посещал концерты симфонического оркестра в Филармонии, но путешествовал мало: не позволяло здоровье, условия для поездок по стране после Гражданской войны были трудные, родители снимали на лето дачу и надо было ею пользоваться целиком. Мы часто ездили тогда на дачу в Токсово, и я интересовался историей тех мест (здесь еще в 20-е годы жили шведы и финны, знавшие местные исторические предания, которые я записывал). Все кругом было интересно до чрезвычайности, а если вспомнить и о событиях чисто литературных, возможность пользоваться всеми книжными новинками, печатавшимися на Печатном Дворе, библиотекой университета и библиотекой редчайших книг в Доме книги, в котором по совместительству работал отец, то единственное, в чем я испытывал острый недостаток, – это во времени.

Ленинградский университет в 20-годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, а ведь рядом еще, на Исаакиевской площади, был Институт истории искусств («Зубовский институт»), и существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов, и нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать.

Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII – самом начале XIX века, другую – о повестях о патриархе Никоне. К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подражался составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в Книжном фонде на Фонтанке в доме № 20, возглавлявшемся Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизированных библиотек частных лиц и дворцов, редкости, редкости и редкости. Было жалко подбирать это все для Фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое, остальное, наиболее ценное, оставляя неизвестно кому.

Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что я узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и лекции (в городе была тьма-тьмущая различных лекториев и мест встреч – начиная от Вольфины на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где, случалось, выступали Есенин, Чуковский, различные прозаики, актеры и т. д.). Посещения Большого зала Филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей – особенно из музыкального мира. Все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и Институту истории искусств.

Из занятий в университете больше всего давали мне не «общие курсы» (они почти и не читались), а семинарии и просеминарии с чтением и толкованием тех или иных текстов.

Прежде всего занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора А. И. Введенского, которые он по иронии судьбы вел в помещении бывших Женских Бестужевских курсов. «По иронии судьбы» – ибо женщин он открыто не признавал способными к логике. В те годы, когда логика входила в число обязательных предметов, он ставил студенткам «зачет», подчеркнуто не спрашивая их, изредка отпуская только иронические замечания по поводу женского ума. Но занятия свои он вел артистически, и студентки, хотя и в малом числе, на них присутствовали. Когда лекции и занятия А. И. Введенского прекратились, один из наших «взрослых» студентов, помню – из числа участников Гражданской войны, организовал группу по занятию логикой на квартире у профессора С. И. Поварнина, автора известного учебника логики. Мы ходили к нему и читали в русском переводе «Логические исследования» Гуссерля, изредка для лучшего понимания текста обращаясь к немецкому оригиналу. Поварнин неоднократно повторял нам: языки надо знать хотя бы немного, хотя бы постоянно прибегая к словарю, ибо переводчикам научных и технических книг доверять нельзя. И это мы ощущали.

Настоящей школой понимания поэзии были занятия в семинарии по английской поэзии начала XIX века у В. М. Жирмунского. Мы читали с ним отдельные стихотворения Шелли, Китса, Вордсворта, Кольриджа, Байрона, анализируя их стиль и содержание. В. М. Жирмунский обрушивал на нас всю свою огромную эрудицию, привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне – и с биографической, и с историко-литературной, и с философской стороны. Он нисколько не снисходил к нашим плохим знаниям того, другого и третьего, к слабому знанию языка, символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и обращался с нами как с учеными коллегами. Недаром он называл нас «коллеги», церемонно здороваясь с нами в университетском коридоре. Это подтягивало. Нечто подобное мы ощущали и на семинарских занятиях по Шекспиру у Владимира Карловича Мюллера, на занятиях старофранцузскими текстами у Александра Александровича Смирнова, среднеанглийской поэзией у Семена Карловича Боянуса.

Но истинной вершиной метода медленного чтения был пушкинский семинар у Л. В. Щербы, на котором мы за год успевали прочесть всего несколько строк или строф. Могу сказать, что в университете я в основном учился «медленному чтению», углубленному филологическому пониманию текста. Иному – занятиям в рукописных отделениях и библиотеках – учил нас милый В. Е. Евгеньев-Максимов. Дав нам рекомендацию в архив, он как бы невзначай приходил туда же и проверял – как мы работаем, все ли у нас благополучно. А однажды он возил меня с собой и к коллекционеру Кортавову в Новую Деревню, надеясь добыть у него кое-какие материалы по Некрасову. Он пробуждал в нас инициативу поисков, учил нас не «бояться архивов». Боязнь архивов В. Е. считал своего рода детской болезнью начинающего ученого, от которой он должен избавиться как можно быстрее.

Увлекали меня и лекции Е. Тарле. Но лекции эти учили главным образом ораторскому, лекционному искусству. Часто впоследствии, когда я в сороковых годах начинал преподавать на историческом факультете Ленинградского университета, я вспоминал, как останавливался Тарле, якобы подыскивая подходящее слово, как потом «стрелял» в нас этим найденным словом, поражавшим своею точностью и запоминавшимся на всю жизнь. Я вспоминал и о том, как Е. В. Тарле «думал», читая свои лекции, как неуклюже, по-медвежьи, топтался возле кафедры, «подыскивая» факты, «вспоминая» документы, создавая полную иллюзию блестящей импровизации. На самом же деле его лекции были детально продуманы заранее.

К древнерусской литературе в университете я обратился потому, что считал ее мало изученной в литературоведческом отношении, как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с точки зрения познания русского национального характера. Перспективным мне представлялось и изучение литературы и искусства Древней Руси в их единстве. Очень важным казалось мне изучение изменений стилей в древней русской

литературе, во времени. Мне хотелось создать характеристики тех или иных эпох вроде тех, что имелись на Западе – особенно в культурологических работах Эмиля Маля.

Мое время – это не только расцвет литературы (не скажу «ленинградской», ибо литературу на русском языке нельзя делить на ленинградскую, московскую, одесскую, вологодскую и т. д.), но и расцвет гуманитарных наук. Такого созвездия ученых – литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, какое представлял собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце в 20-е годы, не было в мире. К несчастью, я не представлял себе тогда – как важно послушать поэтов и писателей, повидать их. Поэтому для меня учение в Ленинградском университете было временем упущенных возможностей. Я слышал Собинова, но уступил другу свой билет на Шаляпина, не пошел на встречи с Есениным и Маяковским. Только однажды разговаривал по телефону с С. Маршаком (он предлагал мне заняться детской литературой – писать для детей по русскому языку).

Арест и тюрьма

В начале февраля 1928 г. столовые часы у нас на Ораниенбаумской улице пробили восемь раз. Я был один дома, и меня сразу охватил леденящий страх. Не знаю даже почему. Я слышал бой наших часов в первый раз. Отец не любил часового боя, и бой в часах был отключен еще до моего рождения. Почему именно часы решились в первый раз за двадцать один год пробить для меня мерно и торжественно?

Восьмого февраля под утро за мной пришли: следователь в форме и комендант наших зданий на Печатном Дворе Сабельников. Сабельников был явно расстроен (потом его ожидала та же участь), а следователь был вежлив и даже сочувствовал родителям, особенно, когда отец страшно побледнел и повалился в кожаное кабинетное кресло. Следователь поднес ему стакан воды, и я долго не мог отделаться от острой жалости к отцу.

Сам обыск занял не много времени. Следователь справился с какой-то бумажкой, уверенно подошел к полке и вытащил книгу Г. Форда «Международное еврейство» в красной обложке. Для меня стало ясно: указал на книгу один мой знакомый по университету, который ни с того ни с сего появился ко мне за неделю до ареста, смотрел книги и все спрашивал, плотоядно улыбаясь, – нет ли у меня какой-нибудь антисоветчины. Он уверял, что ужасно любит эту безвкусицу и пошлость.

Мать собрала вещи (мыло, белье, теплые вещи), мы попрощались. Как и все в этих случаях, я говорил: «Это недоразумение, скоро выяснится, я быстро вернусь». Но уже тогда в ходу были массовые и безвозвратные аресты.

На черном фордике, только-только появившемся тогда в Ленинграде, мы проехали мимо Биржи. Рассвет уже набрал силу, пустынный город был необычайно красив. Следователь молчал. Впрочем, почему я называю его «следователь». Настоящим следователем у меня был Александр (Альберт) Робертович Стромин, организатор всех процессов против интеллигенции конца 20-х – начала 30-х гг., создатель «академического дела», дела Промпартии и пр. Впоследствии он был в Саратове начальником НКВД и расстрелян «как троцкист» в 1938 г.

После личного обыска, при котором у меня отобрали крест, серебряные часы и несколько рублей, меня отправили в камеру ДПЗ на пятом этаже – дом предварительного заключения на Шпалерной (снаружи это здание имеет три этажа, но во избежание побегов тюрьма стоит как бы в футляре). Номер камеры был 273: градус космического холода.

В университете я увлекался Л. П. Карсавиным, а когда оказался в ДПЗ, то волею судеб попал в одну камеру с братом близкой Льву Платоновичу женщины. Помню этого юношу, – носившего вельветовую куртку и тихонько, чтобы не услышала стража, отлично напевавшего цыганские романсы. Перед этим я читал книгу Л. П. Карсавина «Noctes petropolitanae».

Пожалуй, эта камера, в которой я просидел ровно полгода, была действительно самым тяжелым периодом моей жизни. Тяжелым психологически. Но в ней я познакомился с огромным числом людей, живших по совсем разным принципам.

Упомяну некоторых из моих сокамерников. В «одиночке» 273, куда меня втолкнули, оказался энергичный нэпман Котляр, владелец какого-то магазина. Его арестовали накануне (это был период ликвидации НЭПа). Он сразу же предложил мне навести чистоту в камере. Воздух там был чрезвычайно тяжелый. Покрашенные когда-то масляной краской стены были черны от плесени. Стульчак был грязный, давно не чищенный. Котляр потребовал у тюремщиков тряпку. Через день или два нам бросили чьи-то шерстяные кальсоны. Котляр предположил – снятые с расстрелянного. Подавляя в себе подступающую к горлу рвоту, мы принялись оттирать от плесени стены, мыть пол, который был мягок от грязи, а главное – чистить стульчак. Два дня тяжелой работы были спасительны. И результат был:

воздух в камере стал чистым. Третьим втолкнули в нашу «одиночку» профессионального вора. Когда меня вызвали ночью на допрос, он посоветовал мне надеть пальто (у меня с собой было отцовское теплое зимнее пальто на беличьем меху):

«На допросах надо быть тепло одетым – будешь спокойнее». Допрос был единственным (если не считать обычного заполнения анкеты перед тем). Я сидел в пальто, как в броне. Следователь Стромин (организатор, как я уже сказал, всех процессов конца 20-х – начала 30-х гг. против интеллигенции, – не исключая и неудавшегося «академического») не смог добиться от меня каких-либо нужных ему сведений (родителям моим сказали: «Ваш сын ведет себя плохо»). В начале допроса он спросил: «Почему в пальто?». Я ответил: «Простужен» (так научил меня вор). Стромин, видимо, боялся инфлуэнцы (так называли тогда грипп), и допрос не был изматывающе длинным.

Потом в камере попеременно были: мальчик китаец (по каким-то причинам в ДПЗ сидело в 1928 г. много китайцев), у которого я безуспешно пытался учиться китайскому; граф Рошфор (кажется, так его фамилия) – потомок составителя царского положения о тюрьмах; крестьянский мальчик, впервые приехавший в город и «подозрительно» заинтересовавшийся гидропланом, которого никогда раньше не видел. И многие другие. Интерес ко всем этим людям поддерживал меня.

Гулять полгода водил нашу камеру «дедка» (так мы его звали), который при царском правительстве водил и многих революционеров. Когда он к нам привык, он показал нам и камеры, где сидели разные революционные знаменитости. Жалею, что я не постарался запомнить их номера. Был «дедка» суровый служака, но он не играл в любимую игру стражников – метлами загонять живую крысу. Когда стражник замечал пробегающую крысу на дворе, он начинал ее мести метлой – пока она не обессилит и не сдохнет. Если находились тут же другие стражники, они включались в этот гон и с криками гнали метлой крысу друг к другу – в воображаемые ворота. Эта садистская игра вызывала у стражников необычайный азарт. Крыса в первый момент пыталась вырваться, убежать, но ее мели и мели с визгом и воплями. Наблюдавшие за этим из-под «намордников» в камерах заключенные могли сравнивать судьбу крысы со своей.

Спустя полгода следствие закончилось, и меня перевели в общую библиотечную камеру. В библиотечной камере (в которой, кстати, после меня сидел, как вспоминает, Н. П. Анциферов) было много интереснейшего народа. Спали на полу – даже впритык к стульчаку. Там для развлечения мы попеременно делали «доклады» с последующим их обсуждением. Неистребимая в русской интеллигенции привычка к обсуждению общих вопросов поддерживала ее и в тюрьмах, и в лагерях. Доклады все были на какие-либо экстравагантные темы, с тезисами, резко противоречащими общепринятым взглядам. Это была типичная черта всех тюремных и лагерных докладов. Придумывались самые невозможные теории. Выступал с докладом и я. Тема моя была о том, что каждый человек определяет свою судьбу даже в том, что могло показаться случаем. Так, все поэты-романтики рано погибали (Китс, Шелли, Лермонтов и т. д.). Они как бы «напрашивались» на смерть, на несчастья. Лермонтов даже стал хромать на ту же ногу, что и Байрон. Относительно долголетия Жуковского я высказал тоже какие-то соображения. Реалисты, напротив, жили долго. А мы, следуя традициям русской интеллигенции, сами определили свой арест. Это наша «вольная судьба». Через полвека, читая «Прогулки с Пушкиным» А. Синявского, я подумал: «Какая типично тюремно-лагерная выдумка» – вся его концепция о Пушкине. Впрочем, я и еще делал такие «ошарашивающие» доклады, – но уже на Соловках. Об этом после.

Самым интересным человеком в библиотечной камере был несомненно глава петроградских бойскаутов граф Владимир Михайлович Шувалов. Сразу после революции я встречал его иногда на улицах в бойскаутской форме с высокой бойскаутской палкой и в своеобразной шляпе. Сейчас, в камере, он был сумрачен, но крепок и подтянут. Занимался он

логикой. Насколько я помню, это были какие-то соображения, продолжавшие «Логические исследования» Гуссерля. Как он мог для работы полностью отключаться от шумной обстановки камеры, – не понимаю. Должно быть, у него была большая воля и большая увлеченность. Когда он излагал результаты своих поисков, я, хотя и занимался перед этим логикой у А. И. Введенского и С. И. Поварнина (у которого занимался ранее и сам Шувалов), с трудом его понимал.

Впоследствии он получил высылку и полностью исчез из моего поля зрения. Кажется, его родственница (м. б., жена) работала в Русском музее, занимаясь иконами.

Странные все-таки дела творились нашими тюремщиками. Арестовав нас за то, что мы собирались раз в неделю всего на несколько часов для совместных обсуждений волновавших нас вопросов философии, искусства и религии, они объединили нас сперва в общей камере тюрьмы, а потом надолго в лагерях, комбинировали наши встречи с другими такими же заинтересованными в решении мировоззренческих вопросов людьми нашего города, а в лагерях – широко и щедро с людьми из Москвы, Ростова, Кавказа, Крыма, Сибири. Мы проходили гигантскую школу взаимообучения, чтобы исчезать потом в необъятных просторах нашей родины.

В библиотечной камере, куда по окончании следствия собирали людей, ожидавших срока, я увидел сектантов, баптистов (один из них перешел нашу границу откуда-то с запада и ожидал расстрела, не спал ночами), сатанистов (были и такие), теософов, доморощенных масонов (собиравшихся где-то на Большом проспекте Петроградской стороны и молившихся под звуки виолончели; кстати, – какая пошлость!). Фельетонисты ОГПУ «братья Тур» пытались время от времени вывести всех нас в смешном и зловредном виде (о нас они опубликовали в «Ленинградской правде» пересыпанный ложью фельетон «Пепел дубов», о других – «Голубой интернационал» и пр.). О фельетоне «Пепел дубов» вспоминал впоследствии и М. М. Бахтин.

Объединились и наши родные, встречаясь на передачах и у различных «окошечек», где давали, а чаще не давали, справки о нас. Советовались – что передать, что дать на этап, где и что достать для своих заключенных. Многие подружились. Мы уже догадывались – кому и сколько дадут.

Однажды всех нас вызвали «без вещей» к начальнику тюрьмы. Нарочито мрачным тоном начальник тюрьмы, как-то особенно завывая, прочел нам приговор. Мы стоя его слушали. Неподражаем был Игорь Евгеньевич Аничков. Он с демонстративно рассеянным видом разглядывал обои кабинета, потолок, не смотрел на начальника и, когда тот кончил читать, ожидая, что мы бросимся к нему с обычными lamentациями: «мы не виноваты», «мы будем требовать настоящего следствия, очного суда» и пр., Игорь Евгеньевич, получивший 5 лет, как и я, подчеркнуто небрежно спросил: «Это все? Мы можем идти?» – и, не дожидаясь ответа, повернул к двери, увлекая нас за собой, к полному недоумению начальника и конвоиров, не сразу спохватившихся. Это было великолепно!

Недели через две после вынесения приговора нас всех вызвали «с вещами» (на Соловках выкрикивали иначе: «Вылетай пулей с вещишками») и отправили в черных воронах на Николаевский (теперь Московский) вокзал. Подъехали к крайне правым путям, откуда сейчас отправляются дачные поезда. По одному мы выходили из «черного ворона», и толпа провожавших в полутьме (был октябрьский вечер), узнавая каждого из нас, кричала: «Коля!», «Дима!», «Володя!». Толпу еще не боявшихся тогда родных и друзей, просто товарищей по учению или службе, грубо отгоняли солдаты конвойного полка с шашками наголо. Два солдата, размахивая шашками, ходили перед провожавшими, пока нас один конвой передавал другому по спискам. Сажали нас в два «стольпинских» вагона, считавшихся в царское время ужасными, а в советское время приобретших репутацию даже комфортабельных. Когда нас наконец распихали по клеткам, новый конвой стал нам передавать все то, что было при-

несено нам родными. От Университетской библиотеки я получил большой кондитерский пирог. Были и цветы. Когда поезд тронулся, из-за решетки показалась голова начальника конвоя (о идиллия!), дружелюбно сказавшая: «Уж вы, ребята, не серчайте на нас: служба такая! Что если не досчитаемся?». Кто-то ответил: «Ну, а зачем же непременно матом и шашками на провожавших?».

СОЛОВКИ

Наше счастье было в том, что отправляли нас на Соловки – тех, кто получил трехлетний срок, и тех, кто получил по пяти, – всех вместе в одном вагоне, хотя и в разных клетках (так называемые «стольпинские» вагоны имели решетки в коридор, по которому ходил конвой). И все-таки мы общались, делились сведениями о судьбе, о допросах, – кто что сказал. Больше всего мы боялись, что нас разлучат в лагере.

Из разговоров на Соловках в 1929 г. я помню: плотность «населения» на Соловках больше, чем в Бельгии. При этом огромные площади лесов и болот не только не населены, но и неизвестны.

Что же было на Соловках? Гигантский муравейник? Да, муравейник был, – между зданиями трудно было даже протолкаться. Давка при входе и выходе у 13-й роты – рядом с Преображенским храмом. Охранники из заключенных с палками («дрынами») «наводили порядок». И при этом вход и выход разрешен каждому – только с «нарядами» – листами на работу.

Ночью проходы между зданиями затихали. Высились богатырские стены, башни и храмы, устойчиво опиравшиеся на расширявшиеся книзу стены.

Попробую описать устройство лагеря. В Кремле (так называлась часть монастырских строений, огражденная стенами из гигантских валунов, поросших оранжевым лишайником) было 14 рот. 15-я рота, вне монастыря, – для заключенных, живших в различных «шалманах» – при мехзаводе, алебастровом заводе, при бане № 2 и т. д. Про лагерное кладбище говорили – 16-я рота. Шутили, но трупы в некоторых ротах зимой лежали незасыпанные и раздетые.

Почему заключенные распределялись по ротам? Я думаю, тут известную роль сыграли заключенные из военных, сами устанавливавшие порядок среди первых прибывших на острова лагерников. Тюремщики сами ничего не могли сделать, организовать тем более. Военные были поначалу единственной организующей силой, способной разместить, накормить, навести элементарный порядок прибывавших и прибывавших на острова Соловецкого архипелага заключенных. Они и делали многое по армейскому образцу.

Первая рота была ротой «привилегированных» – командиров, начальников. Она помещалась за алтарем Преображенского собора и глядела окнами на площадь общелагерных поверок. Над первой ротой помещалась третья, «канцелярская», с окнами в обе стороны. Где была вторая рота, не помню. Шестая – «сторожевая» – состояла в основном из священников, монахов, епископов. Им поручалась работа, на которой нужна была честность: сторожить склады, каптерки, выдавать посылки заключенным и т. д. Она помещалась в основном здании, тоже обращенном на площадь поверок. Седьмая рота – «артистическая». Здесь жили работники культурно-воспитательной части: актеры, музыканты, административные деятели учреждений, изображавшие собой «перевоспитательную» работу на Соловках. Восьмая, девятая и десятая роты тоже были «канцелярскими». Одиннадцатая рота – это карцер. Он помещался у Архангельских ворот. Там заключенные сидели на «жердочках» – узких высоких скамьях, а спали прямо на полу. К карцеру пришлось прибегнуть, когда в Соловки стали прибывать уголовные и против них стали приниматься меры самими заключенными «каэрами» («контрреволюционерами», по терминологии начальства). В конце концов прибытие нового большого числа заключенных заставило превратить в роту трапезную. Трапезная единостолпная палата, по своим размерам превосходившая Грановитую палату Московского Кремля, первоначально использовалась по своему прямому назначению – как общая столовая для всех заключенных. Когда помещений в монастыре стало не хватать, превратили в роту помещение, вход в которое был через трапезную. Это была двенадцатая рота.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.